

# О.М. Михайлов

## Куприн

**«Возвращение Куприна в Советский Союз.**

**29 мая выехал из Парижа в Москву возвращающийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель — автор повестей «Молох», «Поединок», «Яма» и др. — Александр Иванович Куприн» (ТАСС).**

**«Правда», 1937, 30 мая, № 148**

Удивительная и трагическая судьба.

Раннее сиротство (отец, мелкий чиновник, умер, когда мальчику был год); непрерывное семнадцатилетнее затворничество во всякого рода казенных заведениях (московский сиротский дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище); затем, после нескольких лет унылой военной службы в провинции, выход в отставку, полуголодное существование человека без профессии; первые литературные удачи, стремительный взлет: слава, деньги, кутежи, безудержная трата сил и — в эмиграции, в далеком Париже — быстрое физическое угасание, нужда, жестокая и непрестанная тоска по России; наконец осуществившаяся мечта вернуться на Родину...

# Глава первая У ЧЕХОВА

## 1

Белый каменный домик в Аутке осаждали посетители.

Ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры — бог знает кто еще не приезжал сюда. На железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, целыми днями висли, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах.

— Антон Павлович занят и никого не принимает, — заметно заикаясь, объяснял полной даме Сергей Яковлевич Елпатьевский, беллетрист, гордившийся тем, что образование врача позволяло ему в Ялте следить за здоровьем Чехова. — Кроме того, он чувствует себя неважно...

Сухое покашливание прервало его тираду. Чехов, высокий, стройный, с усталым и добрым лицом, шурясь через пенсне, стоял у входа:

— Вы забыли, господа, что я тоже лекарь.

— Антон Павлович! — закричала дама неожиданным дискантом и легко отодвинула Елпатьевского с дороги. — Перед вами вдова

акцизного чиновника, страстная почитательница вашего хмурого таланта! О, только поглядеть на вас, побеседовать с вами — какое это счастье! Я так люблю ваши сочинения...

— Какие же именно, смею спросить? — низковатым голосом проговорил он.

— «Каштанка»... — пролепетала она, порывисто дыша. — И еще... «Гуттаперчевый мальчик»... Как это? Да помогите же, господа!

Чехов снял пенсне и твердо сказал:

— Доктор Куприн прав. Вам надо немедленно ехать лечиться. На кумыс! В Башкирию! Сергей Яковлевич, проводите больную...

Чехов надел пенсне и захохотал — беззаботно, мальчишески:

— Нет, вы видели? И сколько таких поклонниц! Вы обратили внимание? У этой дамы такой вид, словно под корсажем у нее жабры!

Куприн усмехнулся, но тут же возразил армейской скороговоркой:

— По мне бы, Антон Павлович, нечего с ней рассусоливать. От ворот поворот. Без экзаменовки... А то все вокруг только тем и заняты, что мешают вам работать. Право, заговор какой-то! Да еще я навязался на вашу голову...

— Ай-яй-яй! — Чехов улыбался добро и грозил пальцем. — Вы позабыли, что мы сегодня трудимся вместе.

Он пропустил Куприна и пошел с ним к дому маленьким садом, где только зацветали абрикосы и миндаль, — высокий, в мягкой черной шляпе и пальто, постукивая тросточкой.

— У меня вчера была чудесная встреча... На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, поручик. «Вы Антон Павлович Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» — и покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись...

Куприн слушал его и, морщась, ругал себя за то, что отнимает время у этого деликатнейшего из когда-либо встречавшихся ему людей. Посетители и гости донимали Чехова, даже раздражали его, но он со всеми оставался ровен, терпеливо внимателен. Безотказная доброта Чехова доходила до той трогательной черты, которая уже граничила с безволием.

Он готов был повернуться и убежать. Как неудобно все выходит! Приехал с Буниным из Одессы в Ялту, остановился за Ауткой, нанял комнатуху в шумной и многочисленной греческой семье. И черт дернул пожаловаться Чехову, что в такой обстановке работать невозможно. И вот Чехов настоял, чтобы Куприн непременно приходил к нему с утра и занимался внизу, рядом

со столовой. «Вы будете внизу писать, а я наверху, — говорил Чехов со своей обезоруживающей, доброй улыбкой. — А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре...»

Куприн привык писать где-нибудь «на тычке», на кончике стола, среди шума и редакционной толкотни, а тут отдельная комната и полная тишина! Он приходил утром работать, а Чехов озабоченно спрашивал, сдвигая брови: «Может быть, перо не годится? Вы не стесняйтесь! Я по себе знаю — иногда из-за плохого, скрипучего пера вся работа идет черт знает как».

Здесь, в чеховском домике, Куприн писал рассказ «В цирке» — о могучем и добродушном борце Арбузове.

Работалось ему весело, но все же ухо было повернуто назад, к двери. И иногда он отчетливо слышал, как Чехов, проходя по коридору, вдруг начинал ступать как-то по-другому, осторожно, всей пяткой, чтобы не производить лишнего шума, или шикал на горничную Марфушу, когда она гремела посудой. Все это трогало Куприна...

— Пишете вы с завидной увлеченностью, — проговорил Чехов, входя с Куприным в большую прохладную столовую.

— Еще бы! — ответил Куприн. — Тема сама по себе не больно сложная — смерть борца после

состязания, которое нельзя отменить. Профессиональный атлет, даже полуинтеллигент, должен состязаться с американцем Джоном Ребером. Он уже внес сто рублей на пари и афиши выпущены. Но с утра он чувствует озноб и лень во всем теле.

Видит на репетиции утром своего противника — тот тренируется — и ощущает страх. Вечером борется, побежден и умирает...

— Тут много психологии, — заметил Чехов.

— И какие подробности! Цирк днем во время репетиции и вечером во время представления, жаргон, обычаи, костюмы, описание борьбы, напряженных мускулов и цирковых поз, волнения толпы...

— Цирк вы знаете лучше, чем я, — сказал Чехов. — А вот по лекарскому делу я обязан преподать вам лекцию. — И прибавил требовательным баском: — В этих делах, сударь мой, надо, чтобы комар не мог носу подточить! Да и вообще примите во внимание, что читатель — человек строгий, его даже на крупицу опасно обмануть...

Отчего гибнет ваш герой, вы знаете? Ведь рассказ попадет и к медикам...

— Гипертрофия сердца... — смущенно сказал Куприн. — Болезнь грузчиков, кузнецов, матросов.

— Извольте снять пальто и подняться за мной в кабинет! — с шутливой строгостью приказал Чехов. — Мы решим сообща, на какие именно симптомы болезни вам надлежит обратить особое внимание... Выделить их так, чтобы ее характер не оставлял сомнений.

Кабинет у Чехова был небольшой, скромный. Прямо против входной двери большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем. В нише турецкий диван. С правой стороны коричневый кафельный камин с вечерним пейзажем Левитана. В самом углу дверь, сквозь которую видна спальня Чехова, веселая, светлая комната, сияющая девичьей чистотой. На стенах кабинета портреты Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей.

— Итак, садитесь на диван и внимайте. — Чехов снял пенсне и, как заправский лектор, принял важную позу: — Гипертрофия сердца... У людей, занимающихся усиленной мускульной работой, стенки сердца от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что мы в медицине называем «cor bovinum», то есть бычачье сердце...

Незаметно Чехов сам увлекся. От описания паралича сердца и предшествующих ему явлений он перешел к другим сердечным болезням: приводил грустные и смешные примеры из собственной практики, говорил о трудностях диагноза при сердечной недостаточности, о тонкостях лекарского искусства, которое достигается единственно опытом, наблюдениями... Куприн позабыл о том, что собирался записывать подробности. «Да, если бы Чехов не был таким замечательным писателем, — думал он, — он был бы прекрасным врачом...»

— Ваш атлет умирает после схватки с противником? — внезапно спросил Чехов.

— Возможно... Или скончается прямо на арене... После того как американский атлет припечатал его к тырсе...

— Тырса? Что это?

Куприн улыбнулся смущенно, стесняясь, что знает что-то, что неизвестно Чехову.

— Это смесь песка и деревянных опилок, которой посыпается арена... Впрочем, во время борьбы арену обычно застилают брезентом.

— Так вот! — Чехов, играя пенсне, расхаживал по кабинету. — Представим все в последовательности.

— По замыслу, — сказал Куприн, — накануне состязания атлет переживает сердечный приступ.



Врач осматривает его и настоятельно рекомендует отложить состязание...

Чехов откликнулся, подчеркивая каждое слово взмахом пенсне:

— Бешеный пульс, холодные руки, расширенные зрачки. Однако отложить борьбу невозможно...

Он закашлялся и кашлял долго, сухо, прикрыв глаза рукой. Подошел к столу, отвернулся, сплюнул мокроту в баночку и вытер рот платком. Постоял немного. Лишь на мгновение по его лицу прошло облачко, и вновь оно сделалось добрым и приветливым.

— А сама смерть, — глуше, чем обычно, сказал он, — наступает после поражения, в цирковой уборной. Вместе с чувством тоски, потерей дыхания, тошнотой, слабостью... Куприн, соглашаясь, кивнул головой. Очень самолюбивый, он в разговорах с Чеховым не испытывал никакой ущемленности, спокойно сознавая его правоту и превосходство.

В кабинет неслышно вошла скромная, гладко причесанная женщина в простом холстиновом платье.

— Что, Ма-Па? — ласково сказал Чехов.

— Обедать, Антоша... — отвечала сестра, с нежностью глядя на него лучистыми — чеховскими — глазами.

Куприну еще никогда не доводилось видеть такой дружбы между братом и сестрой. Антон Павлович и Мария Павловна понимали друг друга с одного взгляда, легко читая все, что происходило в душе каждого. «У меня с сестрами, — подумал он невольно, — ни с Софьей, ни даже с любимой — Зиной — такой близости не было. Я их люблю обычной любовью. Но она не переходит в родство душ...»

Куприн знал, что Мария Павловна, не желая нарушать течение жизни Чехова, не вышла замуж, вообще отказавшись от личного счастья. Чехов был также убежден, что никогда не женится, до встречи с Ольгой Леонардовной Книппер, прекрасной артисткой Художественного театра. Но именно Мария Павловна, чутко ощутив зарождение увлеченности, полусхотливо рекомендовала брату, побывав в третий раз на представлении «Чайки» и расхвалив игру актеров МХТ: «...советую поухаживать за Книппер. По-моему, она очень интересна...»

С появлением в его жизни Ольги Леонардовны Чехов все время ощущал вину перед сестрой и был по отношению к ней особенно внимателен и нежен.

— Обедать, обедать! — хлопнул он в ладоши. — И вы, господин убийца, только что отправивший на тот свет атлета! Немедля к столу!

Куприн покачал головой:

— Благодарю, Антон Павлович. С обедом меня ждет хозяйка...

Чехов, слегка откинув голову, внимательно посмотрел на помрачневшего гостя. Куприн сидел без гроша. Перед отъездом в Ялту он сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Гонорар запаздывал, и, конечно, обед у хозяйки был чистым вымыслом. Но, живя впроголодь, Куприн тем более стеснялся оставаться на гостеприимной даче в роли нахлебника.

— Ничего, — непреклонно сказал Чехов, — ваша хозяйка подождет. А пока за стол и без разговоров! Когда я был молодой и здоровый, то легко съедал два обеда. А вы, уверен, отлично справитесь и с тремя!

Поборов неловкость, Куприн спустился в столовую. Там царствовала мать Чехова — старенькая и мудрая Евгения Яковлевна, великая мастерица на всякие соленья и варенья. Угощать и кормить было ее любимым занятием. Гостей она принимала как настоящая старосветская помещица, с той только разницей, что делала все сама, своими искусными руками: ложилась позже всех и вставала всех раньше...

— А вот еще курничка, голубчик, положи себе... — говорила она Куприну с характерным южным придыханием на букву «г». — И ставридки

горячей не забудь, не то остынет — свежая черноморская...

Чехов по обыкновению ел чрезвычайно мало. Вяло поковыряв в тарелке, он встал из-за стола и прохаживался от окна к двери и обратно. Заметив, что Куприн робко поглядывает на пузатый, потный от холодной влаги графинчик, Чехов остановился за его стулом:

— Послушайте, выпейте еще водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а за столом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

Куприн благодарно поглядел на него. Чудный дом, чудная семья! Он почувствовал себя легко, непринужденно, расправил плечи, так что мышцы буграми заходили под скромным пиджаком.

— А вы, господин писатель, наверняка сами занимались французской борьбой, — сказал Чехов. — А может быть, еще и боксом?

— Угадали, Антон Павлович, — блеснув узкими глазами в улыбке, отозвался Куприн. — И борьбой и боксом. Но попробуй об этом признаться в цивилизованном обществе! Борьбу как занимательное зрелище еще снисходительно допускают. Но на бокс смотрят как на зверское, недостойное цивилизованного человека явление, которое следует искоренять. — Он тронул свой мягкий, сломанный в боксе нос. — Не понимают,

что бывают случаи, когда знание простейших приемов может оказать неоценимую услугу...

— Вот как? — удивилась Мария Павловна. — Например?

Воодушевленный общим вниманием, Куприн продолжал:

— После выхода в отставку я довольно долго жил в Киеве. Чем только не занимался, чего не перепробовал! Раз поздно вечером возвращаюсь домой. На улицах темно и морозно. И вот на одном из перекрестков из-за угла выскакивает рослый дядя и требует деньги, часы и пальто...

— Ах, боже ж ты мой! Деточка бедная! — не удержалась Евгения Яковлевна.

Чехов присел к столу, чтобы было удобнее слушать.

— Признаюсь, — рассказывал Куприн, — что в моем кошельке брэнчало всего-навсего несколько серебряных монет и расстаться с ними не было жалко. Часы находились в закладе. Но своим единственным, хотя и сильно поношенным пальто с собачьим воротником я дорожил и, разумеется, расставаться с ним не собирался. Вы можете подумать, что я начал кричать и звать городского. Ну нет!! Через две секунды предприимчивый дядя лежал на земле и вопил благим матом. И только когда я убедился, что как следует «обработал противника», как говорят боксеры, и он уже более

не боеспособен, я оставил его, сказав на прощание: «Теперь ты будешь знать, мерзавец, как отнимать у человека последнее пальто...»

Чехов, зорко, весело глядя на Куприна, сказал:

— Сейчас я хорошо понимаю, отчего вас так тянет к циркачам, акробатам, борцам.

— Человек должен развивать все свои физические способности! — нагнув голову, упрямо проговорил Куприн. — Нельзя относиться беззаботно к своему телу. А наши литераторы — на кого они похожи! Редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы или кривобоки, при ходьбе вихляются всем туловищем, загребают ногами или волочат их — смотреть противно...

— Это уже в вас говорит строевик, офицер, — откровенно любуясь Куприным, добавил Чехов. — Военная косточка — чудесное начало...

— А мне так часто колют глаза, как чем-то постыдным, моим офицерским прошлым, — возбужденно откликнулся Куприн. — И кто? Эти слабые духом и немощные телом монстры! Вы заметили, Антон Павлович, что почти все они носят пенсне, которое часто сваливается с их носа? Я уверен, что в интимные минуты они роняют пенсне на грудь любимой женщины...

Он осекся, внезапно вспотев. Чехов хохотал беззвучно, падая головой на колени. Мария Павловна деликатно вышла из комнаты.

Не сразу успокоившись, Чехов наконец ответил, сдерживая рыдания смеха:

— Вы совершенно правы, Александр Иванович. Пенсне — штука безобразная... Но те, кого угораздило носить пенсне, уверяю вас, в интимные минуты им не пользуются.

Евгения Яковлевна, мало улавливая суть происходящего и думая о своем, с тоской в голосе произнесла:

— Антоша! Ты опять ничего не ел!

Чехов поднялся, с немой улыбкой подошел к матери и, взяв ее вилку и ножик, начал мелко-мелко резать ей мясо.

— Ты нас угостишь с Александром Ивановичем чаем... На террасе, — с ласковой серьезностью сказал он.

Куприн все еще не мог прийти в себя от глупой оплошности. «Офицер! Деревяшка! — повторял он. — И надо же было такое ляпнуть!»

— А вы не знаете, куда запропастился Бунин? — отвлекая его от самоистязания, спросил Чехов. — Второй день не кажет глаз...

Бунин все еще жестоко страдал и от недавнего разрыва с женой, красавицей гречанкой Анной Николаевной Цакни, и от невозможности видеть

маленького сына. Он таил боль глубоко в себе, шутил, балагурил, до слез смешил Евгению Яковлевну, Марию Павловну, самого Чехова...

Сбивая затянувшуюся паузу, Куприн сказал:

— Сидит по утрам в кофейне Берне.

— Удобное место для молодого человека! — нарочито ворчливо ответил Чехов, пряча грусть за стеклами пенсне. — Устроился за столиком на набережной возле купальни. Смотрит на купальщиц — как вздуваются в воде их рубашки.

«Никогда от шуток Чехова, — подумалось Куприну, — не остается заноз в сердце... Так же, как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек сознательно не причинил ни малейшего страдания ничему живущему!...»

После чая они сидели с Чеховым в саду на лавочке, следя, как клонится солнце к вершине Яйлы.

Перед хозяином преданно вертелись две собаки — Тузик и Каштан, названный так в честь исторической Каштанки. Каштан был толст, гладок, неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он сперва залаял на Куприна, но стоило тому поманить его и почмокать, как Каштан доверчиво перевернулся на спину, извиваясь по земле. Чехов легонько отстранил его палкой и с притворной суровостью проговорил:



— Уйди же, уйди, дурак... Не приставай...

И прибавил, обращаясь к Куприну, с досадой, но со смеющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

И здесь Чехов был сдержан, скрывая нежность к собаке. Но Куприн слышал, что, когда Каштан по свойственной ему неповоротливости попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу, Чехов нежно, ловко и осторожно промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал йодоформом и перевязал марлевым бинтом. «Ах ты, глупый, глупый... — ласково приговаривал он. — Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...»

— Удивительно трогательна эта робкая доверчивость животных, — сказал Куприн.

— Как и детей, — тихо добавил Чехов.

Животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову, искали его дружбы.

— И страшно, когда беззащитные существа страдают от грубости, жестокости, бездуховности... — Куприн поглядел сбоку на Чехова; у того стекла пенсне от заходящего солнца казались розовыми. — Как ужасен был для меня в раннем детстве переход от семьи к казарме сиротского училища, а потом кадетского корпуса! Бывало, вернешься после долгих летних каникул в

пансион. Все серо, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день, еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение... Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, о какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами... И знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя...

Чехов молчал, вода тростью по песку. Затем просто сказал:

— Знаете, у меня в детстве не было детства.

И сразу собственные слова показались Куприну выпреними, излишне чувствительными. Но как еще передать тоску детской души по матери, по ее теплу? Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку!..

— Сейчас мы должны вернуть детям то, чего недополучили сами, — проговорил Куприн и снова почувствовал, что не в силах выразить свою мысль так просто и глубоко, как Чехов.

— Должны, должны... — рассеянно отвечал тот, поднимаясь со скамейки, так как Мария

Павловна знаками подзывала его. — Верно, должны каждой мелочью украшать и отношения между людьми, и саму землю... Послушайте, — остановился он перед Куприным, — при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавил он вдруг с серьезным лицом. — Знаете ли, через триста-четырееста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна...

«Нет, это не заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это и не жадное любопытство к тому, что будет после меня, не завистливая ревность к далеким поколениям, — размышлял Куприн, оставшись один на скамейке. — Это тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, страдающей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней...»

Голос Чехова, чуть насмешливый, словно таящий легкую иронию к собственным недавним словам, вывел Куприна из задумчивости:

— Ну, отважный боксер! Теперь ваша очередь повторить подвиг Елпатьевского. В мою калитку снова рвется вдова акцизного чиновника из Чебоксар!

## 2

— Его сиятельство маркиз Букишон! — торжественно провозгласил Чехов, входя в соседнюю со столовой комнатку, в которой работал Куприн.

Он стал называть Бунина так потому, что в какой-то газете увидел портрет какого-то маркиза, который был на него похож.

— Знакомьтесь: французский депутат и маркиз...

— Здравствуй, Иван, — поднялся навстречу Бунину Куприн.

И в тридцать лет Бунин был юношески красив, свеж лицом, правильные черты которого, синие глаза, остроугольная русо-каштановая голова и такая же эспаньолка выделяли его, обращали на себя внимание.

— Христос воскрес, Саша! — Бунин поцеловал Куприна.

Бог ты мой! Да сегодня же святое воскресенье! Пасха! За работой Куприн совершенно позабыл об этом... И сразу вспомнился Второй

Московский кадетский корпус, маленький седенький священник отец Михаил, трогательно похожий на Николая Угодника, и то, что сам Куприн пять лет пел в корпусном церковном хоре вторым тенором...

— Воистину воскрес! — взволнованно ответил он.

— Господин маркиз напрасно притворяется православным и даже христосуется, — сказал ворчливо Чехов. — На самом деле он рьяный католик. И знаете, кто разоблачил его? Наша просвещенная Варвара Константиновна.

Начальница Ялтинской женской гимназии Варвара Константиновна Харкевич была обожательницей писателей, собирала о них все, что только было можно — рецензии в периодике, открытки, пародии, шаржи, — и восторженно читала наизусть их произведения целыми страницами.

— Антон Павлович! Говоря так, вы не совсем ошиблись, — отозвался Бунин характерным южнорусским говором с мягким «г» (совсем таким же, как у Евгении Яковлевны, подумал Куприн). — По преданию, наш род основал муж знатный Симеон Бунковский, который выехал из Польши на служение к великому князю Василию Васильевичу... Он-то, верно, был католиком...

— Вы же дворянин, последний из книги «Сто русских литераторов»... — не без легкого лукавства сказал Чехов и добавил тверже, серьезнее: — А я мещанин и горжусь этим!..

Он обратился к Куприну:

— Как ваш рассказ?

— Перечитал дважды и ставлю точку.

«...В его мозгу резким, высоким звуком — точно лопнула тонкая струна — кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее...» — пробежал глазами Куприн последние строки.

— Тогда оставим мрачные материи и направимся немедленно на набережную... — Чехов положил на плечо Куприна сухую сильную руку.

Вся ялтинская набережная была заполнена празднично одетым народом. Раскланиваясь со знакомыми, Чехов ни разу не последовал массовому примеру ялтинских обывателей, приветствовавших друг друга шумными пасхальными возгласами и поцелуями. Куприн слышал, что еще истово богомольный отец Чехова, бессменный церковный староста одной из таганрогских церквей, своим аскетизмом и суровой

фанатичностью подавил в мальчике религиозные чувства.

В сквере Чехов указал на уединенную скамейку, глядящую на море.

— Ну что, молодые люди, — шутливо сказал он, присаживаясь. — Может быть, подбросите старику какой-нибудь сюжетец или хотя бы красочную деталь? А то я пишу все меньше и меньше...

— Все-таки я вам уже пригодился, — в тон ему отозвался Бунин. — Вспомните, Антон Павлович, начало вашей повести «В овраге».

— Да, господин маркиз! Это вы рассказали мне, как сельский дьячок до крупинки съел два фунта зернистой икры. Где это было?

— На именинах моего отца, — улыбнулся Бунин. — Ел, коченея от наслаждения, как его ни пытались от икры оторвать!

Чехов принялся хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Вы замечательно подмечаете художественные подробности, — чуть шепелявя, сказал он и вдруг прибавил: — Только вот вам мой совет — перестаньте быть дилетантом, сделайте хоть немного мастеровым. Это очень скверно — писать так, как должен был я из-за куска хлеба, но в

некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения...

Куприн слушал их, втайне завидуя тому, как легко, непринужденно держится с Чеховым Бунин, почти как с равным. «Как они близки, — подумал он. — У меня так никогда не получится!»

После недолгого молчания Бунин спросил у Чехова:

— Любите вы море?

Море, серо-лиловое, зеркальное, поднималось перед ними очень высоко.

— Да, — ответил тот. — Только уж очень пустынно.

— Это и хорошо, — сказал Бунин.

— Не знаю. — Чехов глядел куда-то сквозь стекла пенсне и, очевидно, думал о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере помолчав, без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря я читал недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое».

«Да, Бунин, конечно, близок Чехову, — сказал себе Куприн. — И очень ему далек. Как он любит одиночеством, надменной отчужденностью! Эх, Иван, Иван! Больно уж



ценишь ты красивые переживания. Эстет... А по мне, так нет ничего дороже, чем густой мед обыденной жизни, чем эта толпа на набережной и разношерстный народ на пристани — русские, украинцы, молдаване, греки, евреи, татары...»

Он уже не раз ощущал, что Бунин, близкий товарищ, талантливый художник, прекрасный поэт, порою раздражает и даже злит его.

— А не отправиться ли нам в греческий ресторанчик? — нарочито бодро предложил Куприн. — К доброму пьянице Кастаки... У него божественная кефаль и прекрасное белое вино...

«Одесские новости» наконец откликнулись, одарив Куприна небольшой суммой, и он самолюбиво желал угостить Чехова и Бунина «на свои».

— Нет, молодые люди. — Чехов поднялся. — Вы обязательно отправляйтесь в ресторан. А мне пора домой. Стетоскоп строгого Елпатьевского уже ждет меня...

Его высокая фигура еще долго виднелась в толпе на набережной.

— Знаешь, Саша, — сказал Бунин. — К черту ресторан! Давай лучше возьмем у проводника лошадей и закатимся в горы. На Уч-Кош, выше водопада.

— А ты справишься с лошастью? — насмешливо проговорил Куприн. — Я в

Проскурове в ресторан въехал верхом на второй этаж. Не оставляя седла, выпил рюмку коньяку и спустился вниз по лестнице. Заметь: все это на старой одноглазой бракованной кобыле. Цирковой трюк высшего класса!

Бунин холодно ответил:

— Лошадей я знаю не хуже тебя.

— Ты? — Куприн захохотал. — Ведь ты шпак! Штатская штафирка!

У Бунина лицо пошло пятнами:

— Мой отец был лучшим лошадиником в округе и посадил меня в седло, когда мне было пять лет!

— Ну прости, прости... — Куприн понял, что не шутя задел приятеля. — Извини меня! Вася! Ричард! Это же не я, это моя злая кровь князей Кулунчаковых бродит во мне!

— Изволь! — Бунин резко встал. — Тогда пошли искать проводника.

...С ялтинского шоссе они свернули на тропинку, узкую и крутую. Маленькие шерстистые лошадки бежали споро, привычно. Куприн с небрежной офицерской ловкостью ехал за проводником. Внезапно Бунин, слегка задев его крупом лошади, обогнал и помчался с гиканьем по тропе. Мелкие камешки с шорохом сыпались вниз, туда, где в бездне расстилалось солнечное поле